Тереза Ракен

Автор:
Эмиль Золя

Тереза Ракен

Эмиль Золя

Нашумевший роман французского писателя и публициста Эмиля Золя – самого значительного представителя реализма в художественной литературе второй половины XIX века – потрясающе тонко показывает бездну чувств и переживаний героев от безудержной страсти до полного помутнения рассудка, когда угрызения совести за содеянное становятся даже большим наказанием, чем суд и тюрьма. Мечты о великой любви доводят провинциальную красавицу Терезу Ракен, прозябающую в несчастливом браке, до убийства. Роман Эмиля Золя «Тереза Ракен» в переводе Евгения Гунста входит в коллекцию классических шедевров мировой литературы.

Эмиль Золя

Тереза Ракен

© Перевод. Е. Гунст, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

* * *

Предисловие

Я простодушно полагал, что этот роман не нуждается в предисловии… Имея обыкновение излагать свои мысли полным голосом и недвусмысленно обрисовывать в своих произведениях даже мелочи, я надеялся, что буду понят и судим без предварительных разъяснений. Оказывается, я ошибся.

Критика встретила эту книгу яростным, негодующим воем. Некоторые благонамеренные люди из столь же благонамеренных газет брезгливо поморщились и, взяв ее щипчиками, бросили в огонь. Даже мелкие литературные газетки, ежедневно оповещающие о том, что произошло в альковах и отдельных кабинетах, зажали носы, вопя о зловонии и гнили. Я отнюдь не жалуюсь на такой прием; наоборот, я в полном восторге от сознания, что у моих собратьев столь девически чувствительные нервы. Спору нет, произведение мое – достояние моих судей, и если они находят его тошнотворным, я не имею права против этого возражать. Но я сетую на то, что ни один из стыдливых журналистов, которые краснели при чтении «Терезы Ракен», по-видимому, не понял этого романа. Если бы они его поняли, они, быть может, покраснели бы еще гуще, зато я по крайней мере испытывал бы теперь чувство внутреннего удовлетворения от мысли, что действительно вызвал у них отвращение. Нет ничего досаднее, как слышать крик честных писателей о разврате, в то время как ты глубоко убежден в том, что они кричат, даже не зная о чем.

Следовательно, мне надлежит самому представить свое произведение моим судьям. Я сделаю это в нескольких строках, с единственной целью – избегнуть в дальнейшем каких-либо недоразумений.

В «Терезе Ракен» я поставил перед собой задачу изучить не характеры, а темпераменты. В этом весь смысл книги. Я остановился на индивидуумах, которые всецело подвластны своим вершам и голосу крови, лишены способности свободно проявлять свою волю и каждый поступок которых обусловлен роковой властью их плоти. Тереза и Лоран – животные в облике человека, вот и все. Я старался шаг за шагом проследить в этих животных глухое воздействие страстей, власть инстинкта и умственное расстройство, вызванное нервным потрясением. Любовь двух моих героев – это всего лишь удовлетворение потребности; убийство, совершаемое ими, – следствие их прелюбодеяния, следствие, к которому они приходят, как волки приходят к необходимости

уничтожения ягнят; наконец, то, что мне пришлось назвать угрызением совести, заключается просто в органическом расстройстве и в бунте предельно возбужденной нервной системы. Душа здесь совершенно отсутствует; охотно соглашаюсь с этим, ибо этого-то я и хотел.

Теперь, надеюсь, становится, понятным, что я ставил перед собою цель прежде всего научную. Создав два своих персонажа, я занялся постановкой и решением определенных проблем: так, я попытался уяснить странное взаимное тяготение друг к другу, возможное у двух совершенно различных темпераментов, я показал глубокие потрясения сангвинической натуры, пришедшей в соприкосновение с натурой нервной. Всякий, кто прочтет этот роман внимательно, убедится, что каждая его глава – исследование любопытного психологического казуса. Словом, у меня было одно-единственное желание: взяв физически сильного мужчину и неудовлетворенную женщину, обнажить в них животное начало, больше того – обратить внимание только на это животное начало, привести эти существа к жестокой драме и тщательно описать их чувства и поступки. Я просто-напросто исследовал два живых тела, подобно тому как хирурги исследуют трупы.

Согласитесь, что по окончании такого труда, когда еще находишься под впечатлением суровых радостей, связанных с поисками истины, очень тяжело слышать упреки в том, будто единственной твоей целью было изображение непристойных картин. Я оказался в положении живописца, который пишет нагую натуру, не испытывая при этом ни малейшего соблазна, и который глубоко изумлен, когда некий критик заявляет, что он возмущен изображенной на картине наготой. Пока я писал «Терезу Ракен», я забыл весь свет, я с головой погрузился в точное, тщательнейшее изображение жизни, всецело отдавшись исследованию человеческого механизма, и уверяю вас, что перипетии жестокой любви Терезы и Лорана не представляли для меня ничего безнравственного, ничего такого, что может поощрить низменные страсти. Человеческое начало моих моделей исчезло для меня так же, как оно исчезает для живописца, когда перед ним лежит обнаженная женщина и когда он помышляет только о том, как бы лучше изобразить ее на холсте, правдиво передав очертания и колорит ее тела. Поэтому я был крайне изумлен, когда услышал, что мое произведение называют лужей грязи и крови, сточной канавой, мерзостью и тому подобным. Я знаком с приемами критики, я сам был критиком; но единодушие нападок, должен признаться, несколько смутило меня. Неужели среди моих собратьев не нашлось ни одного, который если бы и не защитил, то по крайней мере объяснил бы мою книгу. Среди голосов, кричавших: «Автор „Терезы Ракен“ – жалкий маньяк, которому доставляют удовольствие порнографические сцены», – я

тщетно надеялся услышать голос, который возразил бы: «Да нет, этот писатель – просто исследователь, который хоть и погрузился в гущу человеческой грязи, но погрузился в нее так, как медик погружается в изучение трупа».

Заметьте, что я отнюдь не требую от прессы сочувствия к произведению, которое, как она утверждает, оскорбительно для ее утонченных чувств. У меня нет столь высоких притязаний. Я только удивляюсь, что мои собратья объявили меня каким-то литературным мусорщиком, причем это сделали люди, которым, казалось бы, достаточно нескольких страниц, чтобы понять намерения писателя, и я ограничиваюсь тем, что скромно прошу их в дальнейшем воспринимать меня только таким, каков я есть, и судить меня только за то, что я собою представляю.

А между тем нетрудно было понять «Терезу Ракен», стать на почву наблюдений и анализа, указать на действительные мои ошибки, вместо того чтобы во имя морали кидать мне в лицо комки грязи. Для этого достаточно было известной понятливости и некоторых общих идей, необходимых для критика. Упрек в безнравственности не доказывает в области науки решительно ничего. Не знаю, безнравствен ли мой роман; признаюсь, я никогда не задавался целью сделать его ни более, ни менее целомудренным. Знаю только, что у меня отнюдь не было намерения наполнить его той мерзостью, какую находят в нем люди добродетельные; что каждую сцену, даже самую острую, я писал, руководствуясь лишь научным интересом; и я бросаю моим судьям вызов – пусть они укажут мне хотя бы одну действительно непристойную страницу, написанную в расчете на читателей тех розовых книжечек, тех рассказов о будуарах и закулисных тайнах, что печатаются в двух тысячах экземпляров и горячо рекламируются теми самыми газетами, у которых правдивость «Терезы Ракен» вызвала тошноту.

Несколько оскорблений, уйма благоглупостей – вот все, что я прочел до сегодняшнего дня о моем произведении. Я говорю это здесь спокойно, как сказал бы другу, который в непринужденной беседе спросил бы меня о том, что я думаю об отношении ко мне критики. Один очень талантливый писатель в ответ на мою жалобу на то, что я не нахожу сочувствия у критики, мудро ответил мне: «У вас есть существенный недостаток, который закроет перед вами все двери: вы и двух минут не можете поговорить с дураком, не дав ему понять, что он дурак». Вероятно, так оно и есть; я сознаю, что врежу себе, когда обвиняю критику в непонимании, и все же я не могу скрыть презрения, которое вызывает у меня ее узкий кругозор и суждения, высказываемые вслепую, при

полном отсутствии какого-либо метода. Я имею в виду, разумеется, критику повседневную, ту, что судит, вооружившись всеми литературными предрассудками глупцов и не умея стать на общечеловеческую точку зрения, какая требуется для понимания человеческого произведения. Никогда еще не наблюдал я подобной неуклюжести. Несколько ударов кулаком, адресованных мне ничтожными критиками в связи с «Терезой Ракен», угодило, как всегда, мимо. Критика бьет обычно невпопад, она восхваляет выверты какой-нибудь нарумяненной актрисы и тут же вопит о безнравственности в связи с физиологическим исследованием, ничего в нем не поняв и не желая понимать, и бьет напропалую, едва только ее трусливая глупость подскажет ей, что надо бить. Досадно оказаться наказанным за проступок, в котором ты не виноват. Временами я жалею, что не написал непристойностей; мне кажется, я был бы рад заслуженной взбучке, если бы она обрушилась на меня вместе с тем градом ударов, которые, как черепицы с крыши, бессмысленно сыплются на мою голову неведомо за что.

В наше время найдется всего-навсего два-три человека, которые могут прочесть книгу, понять ее и вынести о ней суждение. Я охотно выслушаю их замечания, ибо убежден, что они не станут высказываться, не вникнув в мои намерения и не оценив плодов моих стараний. Они не стали бы произносить пустопорожних громких слов о морали и литературном целомудрии; они признали бы за мною право выбирать, – в наше время, когда искусство свободно, – те сюжеты, которые мне по душе, и стали бы требовать от меня лишь добросовестности, зная, что достоинству словесности вредит только глупость. И, конечно, их не удивил бы научный анализ, который я пытался применить в «Терезе Ракен»; они увидели бы в нем современный метод, орудие всестороннего познания, которым наш век так настойчиво пользуется для того, чтобы проникнуть в будущее. Каковы бы ни были их окончательные выводы, они нашли бы вполне допустимой мою отправную точку – изучение темперамента и глубоких изменений в человеческом организме под влиянием среды и обстоятельств. Тогда я оказался бы перед лицом истинных судей, людей, которые добросовестно, без ребячества и ложного стыда добиваются истины и не считают себя обязанными выказывать отвращение при виде живых обнаженных тел, служащих предметом исследования. Искреннее изучение, как огонь, очищает все. Конечно, перед лицом судилища, о котором я сейчас мечтаю, мое произведение окажется весьма посредственным; я просил бы этих критиков отнестись к нему с беспощадной строгостью, мне хотелось бы, чтобы оно вышло из их рук испещренным пометками и помарками. Тогда я по крайней мере испытал бы глубокую радость от сознания, что меня критикуют именно за то, что я пытался сделать, а не за то, чего я не делал.

Мне чудится, будто я уже теперь слышу приговор этой истинной критики, критики методической и натуралистической, которая обновила науку, историю и литературу: «Тереза Ракен» – исследование случая чересчур исключительного; драма современной жизни проще, в ней меньше ужасов и безумия. Такие явления не должны стоять на первом плане в книге. Желание ничего не упустить из своих наблюдений привело автора к тому, что он подчеркивает любую деталь, а это придало произведению в целом еще большую напряженность и остроту. С другой стороны, его стилю недостает той простоты, какой требует аналитический роман. Следовательно, чтобы написать хороший роман, писателю теперь следовало бы наблюдать общество с более обширной точки зрения, описывать его в более многочисленных и разнообразных аспектах, а главное – пользоваться языком ясным и естественным».

Я намеревался в нескольких строках ответить на нападки, возмущающие своей наивной недобросовестностью, а между тем замечаю, что пускаюсь в рассуждения с самим собою, как это случается со мною всегда, когда я слишком долго держу в руках перо. Я умолкаю, зная, что читатели не любят этого. Если бы у меня хватило воли и досуга написать манифест, я, пожалуй, попытался бы защитить то, что один журналист, говоря о «Терезе Ракен», назвал «гнилой литературой». Впрочем, к чему защищать? У группы писателей-натуралистов, к которой я имею честь принадлежать, достанет мужества и энергии, чтобы создать крепкие произведения, в самих себе несущие свою защиту. Только предвзятость и ослепление определенного рода критики может вынудить романиста написать предисловие. Раз уж из любви к ясности я совершил ошибку – написал предисловие, то прошу за это прощения у умных людей, которые хорошо видят и не нуждаются в том, чтобы среди бела дня для них зажигали фонарь.

Эмиль Золя

I

В конце улицы Генего, если идти от набережной, находится пассаж Пон-Неф – своего рода узкий, темный проход между улицами Мазарини и Сенекой. Длина

пассажа самое большее шагов тридцать, ширина – два шага; он вымощен желтоватыми, истертыми, разъехавшимися плитами, вечно покрытыми липкой сыростью; стеклянная его крыша, срезанная под прямым углом, совсем почернела от грязи.

В погожие летние дни, когда неумолимое солнце накаливает улицы, сюда проникает через свод грязной стеклянной крыши какой-то белесый свет, скупо разливающийся по проходу. А в ненастные зимние дни, туманными утрами, с крыши спускается на скользкие плиты густой мрак, – мрак беспросветный и гнусный.

На левой стороне пассажа ютятся сумрачные, низенькие, придавленные лавочки, из которых, как из погреба, несет сыростью. Здесь расположились букинисты, продавцы игрушек, картонажники; выставленные вещи, посеревшие от пыли, вяло дремлют в сумраке; витрины, составленные из мелких стеклышек, отбрасывают на товары расплывчатые зеленоватые отсветы; за витринами еле видны темные лавочки – какие-то мрачные каморки, в которых движутся причудливые тени.

Справа по всей длине пассажа тянется стена, на которой лавочники пристроили узкие шкафчики: здесь на тонких полочках, выкрашенных в отвратительный коричневый цвет, лежат какие-то невообразимые товары, выставленные лет двадцать тому назад. В одном из шкафов разместила свой товар торговка фальшивыми драгоценностями; она продает колечки по пятнадцать су, которые заботливо разложила на голубом бархатном щитке в ларце из красного дерева.

Над витринами высится стена – черная, кое-как оштукатуренная, словно покрытая проказой и вся исполосованная рубцами.

Пассаж Пон-Неф не место для прогулок. Им пользуются, только чтобы сократить дорогу, чтобы выгадать несколько минут. Тут проходят люди занятые, которым важно поскорее добраться до места. Здесь видишь подмастерьев в рабочем фартуке, мастериц с их изделиями, мужчин и женщин со свертками под мышкой; здесь видишь стариков, которые бредут в унылом сумраке, льющемся со стеклянной крыши, и ватагу ребятишек, только что вырвавшихся из школы, – они пользуются случаем пошуметь и изо всех сил топают деревянными башмачками по каменным плитам. Весь день тут не умолкает дробное постукивание торопливых шагов, и эти звуки раздражают своей беспорядочностью; никто здесь не останавливается, никто не беседует; каждый бежит по своим делам,

понурив голову, торопится и даже не бросит взгляда на лавочки. Торговцы с недоумением взирают на прохожего, который чудом задержится перед их витриной.

По вечерам пассаж освещается тремя газовыми рожками, вставленными в массивные квадратные фонари. Фонари эти, подвешенные к стеклянной крыше, бросают на нее светлые рыжеватые блики и излучают круги бледного трепещущего света, готового вот-вот померкнуть. Тогда зловещий пассаж уж совсем кажется каким-то логовом; по каменным плитам стелются длинные тени, с улицы долетают порывы сырого ветра; здесь чувствуешь себя словно в узком подземелье. Торговцы вынуждены довольствоваться слабыми отблесками фонарей, падающими на их витрины; только в лавках хозяева зажигают лампы с абажурами – они ставят их на конторку, – и тогда прохожие могут различить, что делается в этих каморках, где и средь бела дня царит ночь. В темном ряду витрин выделяется ярко освещенное окно картонажного мастера: две лампы с рефлекторами прорывают мрак желтыми язычками пламени. А по соседству свеча, воткнутая в резервуар старой лампы, зажигает яркие звездочки в ларчике с фальшивыми драгоценностями. Торговка дремлет, прикорнув в уголке своей будочки, запрятав руки под шаль.

Несколько лет назад против этой торговки находилась лавочка, сколоченная из досок и выкрашенная в бутылочно-зеленый цвет, причем из всех ее щелей просачивалась сырость. На вывеске – длинной узкой доске – черными буквами было выведено: «Галантерея», а на стеклянной двери красными буквами значилось имя: «Тереза Ракен». Справа и слева от двери виднелись глубокие витрины, выложенные синей бумагой.

Днем, в неясном полусвете, взгляд мог различить только витрину.

С одной ее стороны было выставлено немного белья: плоеные тюлевые чепцы по два и три франка, муслиновые манжеты и воротнички, фуфайки, чулки, носки, помочи. Все эти вещи, пожелтевшие и мятые, уныло висели на железных крюках. И так вся витрина, снизу доверху, была заполнена выцветшими тряпками, принимавшими в прозрачных сумерках какой-то зловещий облик. Новые чепцы, выделяясь более яркой белизной, выступали резкими пятнами на синей бумаге, устилавшей доски. А развешенные на железном пруте цветные носки создавали темные блики на расплывчатой, белесой мути муслина.

На другой стороне, в более узкой витрине, громоздились большие клубки зеленой шерсти, черные пуговицы, нашитые на белый картон, коробки всевозможных цветов и размеров, бисерные сетки для волос, натянутые на синеватые бумажные круги, связки вязальных крючков, образцы вышивок, мотки лент, целые горы каких-то выцветших, тусклых предметов, покоившихся здесь по крайней мере пять-шесть лет. На этих полках, пропыленных и сгнивших от сырости, все некогда яркие цвета превращались в один, грязно-серый.

Летом, около полудня, когда солнце заливало площади и улицы жгучими рыжеватыми лучами, за чепчиками, выставленными в витрине, можно было разглядеть бледное и строгое лицо молодой женщины. Это лицо смутно выступало из потемок, царивших в лавке. Под низким гладким лбом вырисовывался длинный прямой тонкий нос; губы представляли собой две узкие бледно-розовые полоски, а подбородок, короткий и энергический, соединялся с шеей гибкой, мягкой линией. Туловища не было видно – оно терялось в сумраке; виднелся только профиль – матово-бледный, с черным широко открытым глазом, как бы придавленный густой темной шевелюрой.

Он вырисовывался здесь часами, неподвижный и тихий, между двумя чепцами с рыжими полосками, проступившими от ржавого железного прута.

По вечерам, когда горела лампа, можно было рассмотреть и внутренность лавки. Она была широкая, но неглубокая; в одном ее конце стояла конторка, на другом виднелась винтовая лестница, которая вела в комнаты второго этажа. Вдоль стен тянулись витрины, шкафы, стопки зеленых картонок; обстановка состояла из четырех стульев и стола. Помещение казалось пустынным, холодным; товары были запакованы и сложены по углам, а не лежали на виду, радуя яркими красками.

За конторкой обычно сидели две женщины: молодая с серьезным лицом и пожилая, улыбавшаяся сквозь дремоту. Последней было лет шестьдесят; ее жирное, неподвижное лицо, освещенное лампой, выделялось белым пятном. Толстый полосатый кот, примостясь на конторке, наблюдал, как она спит.

Подальше на стуле сидел мужчина лет тридцати и то читал, то вполголоса разговаривал с молодой женщиной. Он был маленький, хилый, на вид болезненный; русые тусклые волосы, редкая бородка, лицо в веснушках – все в нем изобличало больного и избалованного сынка.

Незадолго до десяти пожилая женщина просыпалась. Закрывали лавку, и все семейство переходило наверх, спать. Полосатый кот плелся за хозяевами, мурлыча и почесывая голову о каждый столбик перил.

Наверху помещалась квартира из трех комнат. Лестница вела прямо в столовую, которая служила также и гостиной. Слева, в нише, виднелась фаянсовая печь, против нее – буфет; вдоль стен стояли стулья, а посреди комнаты круглый раздвинутый стол. В глубине, за застекленной перегородкой, находилась темная кухня. По сторонам от столовой были расположены две спальни. Пожилая женщина, пожелав сыну и невестке спокойной ночи, уходила к себе. Кот засыпал на стуле в кухне. Супруги отправлялись в спальню. В этой комнате имелась вторая дверь – на лестницу, по которой можно было спуститься в темный узкий коридор, выходивший в пассаж.

Муж, которого постоянно знобило, укладывался в постель; тем временем молодая женщина отворяла окно, чтобы закрыть ставни. Она задерживалась здесь на несколько мгновений перед высокой, черной, грубо оштукатуренной стеной, которая уходила ввысь и ширилась над пассажем. Она рассеянно скользила взглядом по стене, затем тоже ложилась – молча, с пренебрежительным безразличием.

II

Прежде г-жа Ракен торговала галантереей в Верноне. Четверть века прожила она там в маленькой лавочке. Несколько лет спустя после смерти мужа она почувствовала усталость и ликвидировала дело. Благодаря сбережениям, к которым прибавились деньги, вырученные от продажи лавки, она стала обладательницей капитала в сорок тысяч франков; она поместила его в банк и полу чала две тысячи ренты. Этой суммы ей хватало. Она вела жизнь отшельницы, не ведая ни тревог, ни радостей, потрясающих мир; она обеспечила себе существование тихое и невозмутимо-счастливое.

Она снимала за четыреста франков домик с садиком, который спускался к самому берегу Сены. Это было уединенное, укромное жилище, от которого веяло чем-то монастырским; к домику, стоявшему среди обширных пастбищ, вела узкая тропинка; окна его выходили на реку и на пустынные холмы на другом

берегу. Почтенная женщина, которой к тому времени уже перевалило за пятьдесят, замкнулась в этом убежище и вкушала здесь радость безмятежной жизни в обществе сына – Камилла и племянницы – Терезы.

Камиллу тогда было двадцать лет. Мать еще баловала его как ребенка. Она обожала сына, потому что ей пришлось долгие годы отвоевывать его у смерти. Мальчик переболел одной за другой всеми болезнями, какие только можно вообразить. Г-жа Ракен пятнадцать лет боролась со страшными недугами, которые являлись один за другим, чтобы отнять у нее сына. Она все их одолела благодаря своему терпению, заботливости, любви.

Спасенный от смерти, подросший Камилл все еще чувствовал последствия тех постоянных опасностей, которым подверглось его здоровье. Рост его задержался, и он остался маленьким и тщедушным. Его хилые руки и ноги двигались медленно, вяло. Мать еще больше любила его из-за слабости, которая постоянно угнетала его. Она с торжествующей нежностью взирала на его бледное лицо и думала при этом, что даровала ему жизнь больше десяти раз.

Во время редких передышек, которые давала ему болезнь, он занимался в Вернонской коммерческой школе. Здесь он научился письму и счету. Вся наука ограничилась для него четырьмя правилами арифметики и поверхностными сведениями по грамматике. Позже он брал еще уроки чистописания и счетоводства. Г-жа Ракен приходила в ужас, когда ей советовали отдать сына в коллеж, она знала, что вдали от нее он умрет, и уверяла, что книги убьют его. Камилл оставался невеждой, и это невежество делало его еще слабосильнее.

В восемнадцать лет, ничем не занятый и смертельно скучающий в атмосфере нежности, которою его окружала мать, он поступил в качестве приказчика к торговцу полотном. Он получал шестьдесят франков в месяц. У него был беспокойный нрав, и он не переносил безделья. Он чувствовал себя гораздо лучше, когда был занят одуряющей работой, когда просиживал целыми днями над огромными накладными и счетами, каждую цифру которых ему приходилось терпеливо учитывать. Вечером, разбитый, с опустошенной головой, он упивался своим отупением. Чтобы поступить к торговцу полотном, ему пришлось поссориться с матерью; ей хотелось бы всегда держать его при себе, уложенным в постель, вдали от житейских волнений. Молодой человек заговорил решительно; он требовал работы, как другие дети требуют игрушек, – не из чувства долга, а инстинктивно, по врожденной потребности. Постоянная нежность, преданность матери сделали его лютым эгоистом; он воображал, что

любит тех, кто жалеет и ласкает его; в действительности же он жил замкнутой жизнью, в своем собственном мире и любил только свое благополучие, старался любыми средствами умножить свои радости. Когда умильная привязанность матери ему прискучила, он с наслаждением бросился в бессмысленную работу, которая избавляла его от микстур и отваров. Вечерами, возвратясь из конторы, он отправлялся с кузиной Терезой на берег Сены.

Терезе шел восемнадцатый год. Однажды, – семнадцать лет тому назад, когда г-жа Ракен еще держала галантерейную торговлю, – ее брат, капитан Деган, явился к ней с маленькой девочкой на руках. Он прибыл из Алжира.

– Вот ребенок, которому ты доводишься теткой, – сказал он улыбаясь. – Мать его умерла… Не знаю, куда его девать. Дарю его тебе.

Торговка взяла ребенка, улыбнулась ему, поцеловала в розовые щечки. Деган прожил в Верноне неделю. Сестра почти ничего не спросила у него относительно девочки, которую он ей вручил. Она узнала только, что милая крошка родилась в Оране и что ее мать была туземкой, женщиной редкостной красоты. За час до отъезда капитан передал сестре метрику, в которой Тереза, признанная им за родную дочь, значилась под его фамилией. Он уехал, и с тех пор его больше не видали: несколько лет спустя он был убит в Африке.

Тереза росла, окруженная нежной заботливостью тетки; спала она в одной постельке с Камиллом. Здоровье у нее было железное, но ухаживали за ней как за слабеньким ребенком, держали в жаркой комнате, где помещался маленький больной, и ей приходилось принимать все микстуры, которыми пичкали Камилла. Она часами сидела на корточках перед камином и в задумчивости, не моргая, глядела на пламя. Вынужденная жить жизнью больного, она замкнулась в самой себе, приучилась говорить вполголоса, передвигаться бесшумно, сидеть на стуле молча и неподвижно, широко раскрыв глаза и ничего не видя. Но когда она поднимала руку, когда ступала ногой, в ней чувствовалась кошачья гибкость, подтянутые, могучие мускулы, нетронутая сила, нетронутая страсть, дремлющие в скованном теле. Однажды ее брат упал от внезапного приступа слабости; она резким движением подняла и перенесла его, и от этого усилия, давшего выход дремлющей в ней энергии, лицо у нее залилось густым румянцем. Ни затворническая жизнь, которую она вела, ни вредный режим, которому ей приходилось подчиняться, не смогли ослабить ее худого, но крепкого тела; только лицо ее приобрело бледный, желтоватый оттенок, и в тени она казалась почти что дурнушкой. Иной раз она подходила к окну и

заглядывалась на дома на другой стороне улицы, застланные золотой солнечной пеленой.

Когда г-жа Ракен продала магазин и удалилась в домик у реки, в жизни Терезы появились минуты затаенной радости. Тетя так часто твердила ей: «Не шуми, – сиди тихо», что все врожденные свои порывы она тщательно схоронила в глубине души. Она в высшей степени обладала хладнокровием, внешней невозмутимостью, но под ними таилась страшная горячность. Ей всегда казалось, что она в комнате кузена, возле больного ребенка; движения ее были размеренны, она большей частью молчала, была притихшей, а если говорила что-нибудь, то невнятно, по-старушечьи. Когда она впервые увидела сад, белую реку, привольные холмы, уходящие к горизонту, ею овладело дикое желание бегать и кричать; сердце бурно билось в ее груди; но на лице ее не дрогнул ни единый мускул, и на вопрос тети, нравится ли ей новое жилище, она ответила только улыбкой.

Теперь жить ей стало лучше. Она была все так же податлива, сохранила все то же спокойное, безразличное выражение лица, она по-прежнему была ребенком, выросшим в постели больного; но внутренне она зажила безудержной, буйной жизнью. Оставшись одна, в траве, на берегу реки, она, как животное, ложилась ничком на землю, широко раскрыв потемневшие глаза, извиваясь и словно готовясь к прыжку. И так она лежала часами, ни о чем не думая, отдавшись палящему солнцу и радуясь, что может перебирать руками землю. Ее обуревали безумные мечты; она с вызовом смотрела на бурлящую реку, она представляла себе, что вода вот-вот бросится, нападет на нее; тут она напрягала все силы, готовилась к защите и в гневе обдумывала, как ей одолеть стихию.

А вечером Тереза, умиротворенная и молчаливая, занималась шитьем, сидя возле тети; под мягким светом, лившимся из-под абажура, ее лицо казалось лицом спящей. Камилл, развалившись в кресле, думал о своих накладных. Безмятежность сонной комнаты только изредка нарушалась какой-нибудь фразой, произнесенной вполголоса.

Госпожа Ракен взирала на детей с небесной добротой. Она решила их поженить. С сыном она по-прежнему обращалась как с умирающим; она содрогалась при мысли, что может умереть, оставив его одиноким и больным. Но тут она возлагала все надежды на Терезу; она утешала себя тем, что девушка будет служить ему заботливой сиделкой. Племянница с ее спокойствием и молчаливой услужливостью внушала ей безграничное доверие. Она наблюдала за Терезой в

трудных обстоятельствах и хотела приставить ее к сыну как ангела-хранителя. Этот брак был заранее предвиденным, окончательным решением всех вопросов.

Дети давно знали, что со временем должны пожениться. Они выросли с этой мыслью, и она казалась им простой и естественной. В семье говорили об этом союзе как о чем-то необходимом, неизбежном. Г-жа Ракен решила: «Мы подождем, когда Терезе исполнится двадцать один год». И они ждали – терпеливо, равнодушно, без смущения. Жгучие юношеские желания Камиллу были неведомы. По отношению к кузине он все еще оставался мальчиком, он целовал ее, как целовал мать, – по привычке, и это ничуть не нарушало его эгоистического покоя. Он видел в ней ласковую подругу, – с ней было не так скучно, а при надобности она же и отвар ему приготовит. Когда он играл с нею, когда держал ее в руках, ему казалось, что это мальчик, – его плоть молчала. И ни разу ему не пришла в голову мысль поцеловать горячие губы Терезы, когда она отбивалась от него, заливаясь нервным смешком.

И девушка, казалось, тоже оставалась холодной и безразличной. Иной раз она останавливала на нем взгляд, и ее большие глаза несколько мгновений пристально разглядывали его с какой-то царственной невозмутимостью. И только губы ее тогда чуть-чуть вздрагивали. Ничего нельзя было прочесть на этом немом лице, которому непреклонная воля всегда придавала ласковое и внимательное выражение. Когда заходила речь о ее замужестве, Тереза становилась серьезной и лишь легкими кивками одобряла слова г-жи Ракен. А Камилл и вовсе засыпал.

Летними вечерами подростки убегали к реке. Камилла раздражали назойливые заботы матери; у него бывали бунтарские вспышки, ему хотелось бегать, пусть даже заболеть, лишь бы избежать нежностей, от которых его тошнило. Он увлекал за собой Терезу, затевал с нею борьбу, звал ее валяться в траве. Однажды он толкнул кузину так, что она упала. Девушка мигом, словно дикий зверь, вскочила на ноги и с пылающим лицом, с глазами, налившимся кровью, кинулась на него с поднятыми кверху руками. Камилл, не защищаясь, дал повалить себя. Он испугался.

Прошли месяцы, годы. Наступил день свадьбы. Г-жа Ракен уединилась с Терезой, рассказала ей об ее родителях, рассказала историю ее рождения. Девушка выслушала тетю, потом, ни слова не сказав, поцеловала ее.

Вечером Тереза, вместо того чтобы войти в свою комнату слева от лестницы, вошла в спальню кузена, расположенную справа. Этим и ограничились изменения, произошедшие в ее жизни в тот день. Наутро, когда молодожены спустились вниз, Камилл был все так же болезненно-вял и так же эгоистически невозмутим, а Тереза была по-прежнему ласково-безразлична, и лицо ее – по-прежнему непроницаемо и до жути спокойно.

III

Через неделю после свадьбы Камилл решительно заявил матери, что намерен уехать из Вернона и обосноваться в Париже. Г-жа Ракен запротестовала: жизнь ее была налажена, она не хотела никаких перемен. С Камиллом сделался нервный припадок, он пригрозил матери, что расхворается, если она не исполнит его прихоти.

– Я ведь никогда ни в чем не перечил тебе, – сказал он, – я женился на кузине, я принимал все лекарства, которыми ты пичкала меня. Так могу же я наконец выразить какое-то желание и надеяться, что ты уступишь мне… В конце месяца мы уедем.

Госпожа Ракен не спала всю ночь. Решение Камилла перевертывало привычное существование вверх дном, и она в отчаянии обдумывала, как устроить жизнь заново. Но мало-помалу она успокоилась. Она говорила себе, что у молодых могут появиться дети, и тогда ее маленького капитала будет недостаточно. Придется зарабатывать деньги, снова открыть торговлю, подыскать выгодное занятие Терезе. На другой день она уже свыклась с мыслью об отъезде, уже наметила план новой жизни.

За завтраком она была даже весела.

– Вот как мы поступим, – сказала она детям. – Завтра я отправлюсь в Париж; я присмотрю там какой-нибудь небольшой галантерейный магазин, и мы с Терезой опять станем торговать нитками и иголками. Мы будем при деле. А ты, Камилл, делай что тебе вздумается: хочешь – гуляй на солнышке, хочешь – поступи на службу.

– Я поступлю на службу, – ответил молодой человек.

По правде говоря, мысль о переселении возникла у Камилла только под влиянием нелепого тщеславия. Ему хотелось стать чиновником какого-нибудь крупного учреждения; когда он в мечтах представлял себя в большой конторе, с пером за ухом, с люстриновыми нарукавниками, – лицо его заливалось радостным румянцем.

С Терезой не стали советоваться: она всегда была так безвольно-послушна, что тетя и муж не находили нужным спрашивать ее мнения. Она шла, куда они шли, делала то, что делали они, – без единой жалобы, без единого упрека, казалось, даже не сознавая, что переезжает на другое место.

Госпожа Ракен приехала в Париж и сразу же пошла в пассаж Пон-Неф. Ее вернонская знакомая, некая старая дева, направила ее сюда к своей родственнице, владелице галантерейного магазина, от которого она хотела избавиться. Лавочка показалась старой торговке несколько тесной и мрачноватой; но, проезжая по Парижу, она была напугана уличным шумом, роскошью витрин, узкий же пассаж, его скромные витрины напомнили ей ее прежнюю лавку, в которой все дышало покоем. Здесь ей показалось, будто она еще в провинции; она с облегчением вздохнула, решив, что в этом укромном уголке ее дорогие дети будут счастливы. Умеренная цена предприятия развеяла последние сомнения: за него просили две тысячи франков. Арендная плата за лавку и за квартиру над ней составляла всего лишь тысячу двести франков. Г-жа Ракен, которой удалось сберечь около четырех тысяч из своей ренты, рассчитала, что сможет расплатиться за магазин и внести арендную плату за год, не трогая основного капитала. На повседневные расходы, думала она, хватит жалованья Камилла и прибыли от торговли; следовательно, ренту тратить уже не придется, и капитал станет расти для будущих внуков.

В Вернон она вернулась сияющая; она объявила, что отыскала жемчужину, восхитительный уголок, в самом центре Парижа. Мало-помалу, в вечерних беседах, убогая темная лавочка превратилась в дворец; несколько дней спустя она уже представлялась г-же Ракен, сквозь дымку воспоминаний, удобным, просторным, спокойным магазином, обладающим тысячью неоценимых достоинств.

– Ах, милая моя Тереза, – говорила она, – вот увидишь, как мы с тобой будем счастливы в этом уголке! Наверху три прекрасные комнаты. В пассаже

множество народу… Мы будем устраивать прелестные выставки… Помяни мое слово – скучать не придется.

И она болтала без умолку. В ней проснулась старая лавочница; она заранее давала Терезе советы насчет продажи, насчет закупок, насчет разных плутней мелочной торговли. Наконец семья покинула домик на берегу Сены; вечером того же дня она водворилась в пассаже Пон-Неф.

Когда Тереза в первый раз вошла в лавку, где ей отныне предстояло проводить дни, ей показалось, будто она спускается в сырую могилу. Тошнотворное ощущение подступило ей к горлу, тело содрогалось от ужаса. Она взглянула на грязную, сырую галерею, зашла в магазин, поднялась на второй этаж, обошла все помещение; от голых комнат, без мебели, веяло ужасом одиночества и запустения. У молодой женщины не вырвалось ни единого жеста, не нашлось ни единого слова. Она как бы оледенела. Тетя и муж спустились вниз, а она села на чемодан, опустила руки и даже не в силах была заплакать, хотя в груди ее клокотали рыдания.

Оказавшись лицом к лицу с действительностью, г-жа Ракен почувствовала себя неловко; ей было стыдно, что она так размечталась. Она всячески старалась оправдать покупку. Она сразу же придумывала, как исправить тот или иной недостаток; темноту в квартире она объясняла тем, что погода пасмурная, и в заключение уверяла, что стоит только слегка подмести помещение – и все будет в порядке.

– Ничего! – отвечал Камилл. – Все это вполне прилично… К тому же наверху мы будем только по вечерам. Что касается меня – я буду возвращаться не раньше пяти-шести часов… А вы будете вместе, скучать вам не придется.

Молодой человек ни за что не согласился бы жить в такой конуре, если бы не рассчитывал на сладостное пребывание в конторе. Он говорил себе, что на службе ему весь день будет тепло, а придя домой, он будет сразу же ложиться спать.

Целую неделю в лавке и в квартире царил беспорядок. Тереза с первого же дня уселась за конторку и уже не сходила с места. Ее удрученное состояние очень удивляло г-жу Ракен; она рассчитывала, что молодая женщина постарается приукрасить свою квартиру, поставит на окна цветы, попросит, чтобы комнаты

заново оклеили, чтобы купили гардины, ковры. Когда г-жа Ракен предлагала что-нибудь переделать, улучшить, племянница спокойно отвечала:

– Зачем? Нам и так хорошо, роскошь нам ни к чему.

Госпоже Ракен пришлось самой обставить комнаты и навести порядок в лавке. Видя, что тетка с утра до ночи вертится у нее перед глазами, Тереза в конце концов стала выходить из терпения; она наняла прислугу и заставила тетю сидеть возле себя.

Больше месяца Камиллу не удавалось найти службу. Он как можно меньше бывал в лавке и с утра до ночи слонялся без дела. Это ему до такой степени наскучило, что он даже заикнулся, не вернуться ли в Вернон. Наконец ему досталась должность в управлении Орлеанской железной дороги, с окладом в сто франков в месяц. Мечта его осуществилась.

Он отправлялся из дому в восемь часов утра. Он шел по улице Генего и выходил на набережную. Затем, от Академии до Ботанического сада, он шагал, заложив руки в карманы, вдоль Сены. Этот долгий путь, который он совершал дважды в день, никогда не надоедал ему. Он наблюдал, как течет вода, останавливался, чтобы посмотреть, как вниз по течению тянутся баржи, груженные лесом. Он ни о чем не думал. Нередко он задерживался перед собором Парижской Богоматери, который тогда ремонтировался, и рассматривал громоздившиеся вокруг него леса; эти громадные леса почему-то очень занимали его. Потом он мимоходом заглядывал на Винную пристань, пересчитывал извозчиков, ехавших от вокзала. Вечером, усталый, занятый какой-нибудь нелепой историей, которую рассказывали в управлении, он шел по Ботаническому саду и, если не особенно спешил, останавливался возле медведей. Он проводил здесь с полчаса, склонившись над ямой и наблюдая за медведями, которые передвигались, грузно покачиваясь; повадки этих неуклюжих животных нравились ему; он разглядывал их, приоткрыв рот, вытаращив глаза, и, как дурак, радовался и потешался их движениям. Наконец он решал, что пора домой, и отправлялся в путь, волоча ноги и разглядывая прохожих, экипажи, витрины.

Дома он сразу же обедал, потом принимался за чтение. Он купил сочинения Бюффона и каждый вечер задавал себе урок: прочесть двадцать – тридцать страниц, несмотря на страшную скуку, которую наводило на него это занятие. Он читал также, в грошовых выпусках, «Историю Консульства и Империи» Тьера, «Историю жирондистов» Ламартина или какую-нибудь научно-популярную

книгу. Он воображал, что занимается самообразованием. Иной раз он заставлял жену прослушать несколько страничек, кое-какие забавные истории, которые он читал ей вслух. Он очень удивлялся, что Тереза может просидеть целый вечер, задумавшись, молча, не испытывая желания взяться за книгу. В глубине души он считал, что жена его глуповата.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/emil-zolya/tereza-raken

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить